ВДОХ И ВЫДОХ

О библейских и евангельских образах и сюжетах

в русской литературе

Вектор русской литературы, огромная, длинная дорога ее существования сплетена из трех огненных нитей. Первая нить – фольклор. Он сакрален, невероятно жизнеспособен, ярко и слепяще символичен и уходит вглубь времен – туда, где трудно, тяжко, да и невозможно бывает рассмотреть истоки песни, танца, хоровода, обряда. Вторая золотая нить – религия, вера, храм; она стала разматываться в обществе с тех легендарных лет, когда княгиня Ольга в материнской горсти принесла православие на Русь. И третья нить – то, что мы зовем чистой лирикой; поэт пытается высказаться оригинально, а выходит так, что он радостно повторяет Иоанна Дамаскина и Анакреонта, Романа Сладкопевца и Сапфо. Два древнейших жанра внутри лирики – песня и молитва – давно уже стали прерогативой авторской поэзии, хотя издревле были народными и даже общенародными, объединяющими язык началами, дававшими людям архаическое – и бессмертное – чувство соборности, единства, родства.

Что для русского человека образы Библии, Ветхого и Нового Заветов? Кто только не включал библейские мотивы, мелодии, события, ассоциации в ткань своего художества! Однако ведь эпоха Льва Толстого или Михаила Булгакова отличается от нашего сегодня. Времени нет, склонны мы думать, да и чувствовать так хотим, пожалуй; этим детски-наивным постулатом мы отвергаем возможность смерти, в то время как она рядом, она бродит среди нас. Библия не боялась этого древнейшего архетипа Жизнь-Смерть. Более того: она с ним работала. Величайшие пророки, величайшие ветхозаветные поэты, вроде царя Давида или царя Соломона, впрямую, бесстрашно прикасались к этой огненной материи. И правильно делали! Они ничего не боялись. Брали Божий огнь голыми руками и несли людям; здесь они удивительным образом повторяли подвиг античного Прометея, только на другой религиозной основе (закваске, как бы сказали во времена Христа и Апостолов) и с другой священной сюжетной интонацией, в пространстве иной символики. Великие писатели создавали Ветхий Завет. Гениальны были Иезекииль, Иеремия, Исайя, Даниил. Что есть книга? Книга есть непонятный, но очень убедительный эквивалент времени. Времени нет, давайте поверим в это, мы не можем его поймать, мы не можем его дотошно, точно описать, очертить волей свободного определения, – а книга есть.

Если мы будем вспоминать русские художественные тексты, в которых появляется, к примеру, текст Евангелия или указание на конкретных героев Священного Писания, мы изумимся: так их много! Есть и всемирно знаменитые эпизоды. Достаточно вспомнить на память знаемые фрагменты великой нашей крупной формы – финал романа «Воскресение», где Нехлюдов читает Евангелие от Матфея, сцену в «Преступлении и наказании» Достоевского: Сонечка Мармеладова читает Раскольникову евангельскую притчу о воскрешении Христом Лазаря. Конечно, символично: автор дает проститутке и убийце проговорить и прослушать святые и вечные письмена – как обещание будущей жизни: не только небесной, но и земной, подвластной слезному раскаянию и глубокому, глубинному покаянию, граничащему с нравственным потрясением и вторым рождением.

Но это девятнадцатый век, а что двадцатый, двадцать первый?
В «Плахе» Чингиза Айтматова ярко и ясно, после гранд-паузы идеологии, где Богу не нашлось места, звучит лейтмотив Бога. Весь огромный пласт советского времени прошел под знаком богоборчества, и советская литература, как некая мистическая Атлантида, ныне одновременно и утонула, и не утонула, легла в странный дрейф: мы понимаем величие Шолохова, мы помним про трагические страницы Серафимовича и Артема Веселого, но нам внятно и то, что тематика Бога, Библии, веры, религии являлась в те поры откровенным табу, и это страдальное табуирование величайших ценностей христианской культуры длилось ведь не год и не два. Целая эпоха подпала под жесткий и жестокий запрет, под казнящий слоган «Бога нет» (и его продолжение звучало примерно так: «и уже не будет никогда»), под отрицание священного, когда бодрое, как утренняя зарядка, когда откровенно злое.

А потом, точно по Марксу, наступило отрицание отрицания.

И эпоха перескочила на качественно иной уровень.

Библия превратилась, будучи освобожденной из тюрьмы запретов, в необходимый культурный код. Конечно, кто-то и в краснозвездные советские времена этот код, внутри простой жизни, внутри безбожного обихода, бережно хранил: крестил детей, тайком ходил на исповедь и причащался. Соборование, отпевание, венчание – все это существовало, все это было не изгнать, не вытравить из народа, и писатели, прекрасно видя-слыша это невытравимое народное бытие, включали его штрихи в собственную словесную летопись, вшивали его жемчужины в свою творческую исповедь. Однако

Купол церковной обители

Яркой травою зарос...

– пишет в стихах Николай Рубцов, и какая же тоска, безысходная печаль звучит в этой почти песне в полях! И как это не соотносится с торжествующим, нимало не трагичным, многажды повторенным творческим возгласом Пастернака, который то вздыхает:

Слишком многим руки для объятья

Ты раскинешь по концам креста...

– не кроется ли здесь таинственный, еще немного, и откровенно католический эротизм?.. – то насыщает изображаемое пространство оптимизмом метафоры и мощью виде́ния грядущего:

Ко мне на суд, как баржи каравана,

Столетья поплывут из темноты...

В дореволюционной русской поэзии и прозе сильна, если не всесильна, была православная составляющая. И это было ко благу литературы. Русский человек, и простой крестьянин, и великий художник, и аристократ, и работник, нес во времени, лелеял в душе Божий страх; это не тот бытовой страх перед ночной тьмой или перед убийцей из-за угла, – это тот трепет, что категорически не позволяет тебе сделать преступление. Пре-ступить черту. Потому что Бог есть. И Он все видит.
И ты – у Него – на ладони.

Русская душа – неразрешимая загадка только для человека западной культуры. Для нас тут никакой загадки нет. Душа русская суть христианка; принадлежать Христу, стремиться ко Христу есть ее первое, насущное, самое верное предназначение, и она, в особенности творческая, хочет не зря прожить земную жизнь, хочет успеть, перед переходом в Мiръ Иной, сделать все, к чему чувствует себя призванной.

Николай Бердяев, сравнивая Льва Толстого и Федора Достоевского, говорил о том, что Толстой – певец всего мiрского, плотского, материального, жизненного, житейского; для того, чтобы житейское стало житийным, Лев Великий должен был перейти вброд жизнь – и явить нам, в колоссальности своей, великие христианские мотивы в романе «Воскресение», в рассказах «Хозяин и работник» (вариация евангельского доброго самарянина), «После бала», «Отец Сергий» – в рассказе этом, точнее, в повести, Толстой вспомнил историю, поведанную нам в своем «Житии» грандиозным писателем семнадцатого века, опальным протопопом Аввакумом, когда впавший во «блудное разжжение» протопоп, принимая исповедь у красавицы, вышел прочь и долго держал ладонь над свечою, пока дикая боль не вернула его к самому себе из пылающей лавы вожделения. У Толстого отец Сергий, удалившись от пышнотелой девицы, отрубает себе палец топором. Но разве важно различие сюжетных поворотов? Важен сам посыл: есть грех, и есть безгрешие, борись с грехом.

Лев Толстой очень любил писания протопопа Аввакума, сожженного в срубе по приговору царя Алексея Михайловича, называл его великим стилистом, читал «Житие» за столом, когда семья собиралась к вечернему чаю, и восхищался им... Да, общее есть в них, в двух могучих, раскидистых деревах русской словесности...

Тот Христос «в белом венчике из роз», что появляется в финале поэмы Александра Блока «Двенадцать», реет, скользит, невесомо ступает по белейшему, холоднющему снегу, по звездной метели, как по водам Геннисаретского озера; Бог здесь свободно идет по временам, а не только
опекает (своим явлением молча благословляет...) двенадцать красноармейцев – двенадцать краснозвездных апостолов. И ход Бога по выгибу времен есть ход самого человека по собственной, отдельно взятой жизни. Здесь Бог на секунду становится счастливым зеркалом несчастного человека, а не человек – подобием Бога. Сколько обвинений вылилось на этот пресловутый финал «Двенадцати» – с Христом, легко идущим над Мiромъ в метели! В вечной русской метели, она же символ самой матушки-Руси, где царит вечная зима, и символ белых риз горней чистоты. Революция – кровь и грязь, но она – дело благое, говорит нам Блок этим призрачным Божиим шествием.

Много людей высказывалось о том, что «Плаха» Чингиза Айтматова –
беззастенчивая реприза булгаковского «Мастера...». Это и так, и не так. Народ у Айтматова не принимает слов Праведника, отрицает, отвергает их. И здесь идет прямая ассоциация скорее с подлинным Писанием, с бичеванием и заушанием Христа, изображенным евангелистами.

Мы пытаемся вернуться к мифологеме чуда. И заново понять: есть Божии чудеса, а есть соблазны, рядящиеся в одежды ангелов, как пишет о. Серафим Роуз. В свое время я восхищалась книгой о. Серафима «Душа после смерти». Однако наш святитель Игнатий (Брянчанинов) в своем «Слове о Смерти» достигает иных, звездных высот чувства Бога, и текст книги святителя Игнатия приподнимает занавес (или, если провести параллель с Литургией, приоткрывает Царские Врата) над привычными положениями Мiра, делая их Таинствами.

Алексей Варламов в «Рождении», Евгений Водолазкин в «Лавре», Майя Кучерская в «Боге дождя» и целый сонм нынешних литераторов пытаются вернуться – и вернуть нас – в лоно Христа-Бога, но часто у авторов (не у всех!.. у иных...) получается такое игрушечное, наполовину сказочное, детски-святочное, сусальное православие, в котором нет силы Бога и крепости, и святого страдания, и святого праздника православия истинного. Я не призываю писателя бесконечно малевать, в стихах и прозе, Спаса в Силах и Христа Пантократора на мощном храмовом куполе. Но ведь это так и есть, увы – русская литература, потеряв за время ломки страны сакральную, священную (нравственную!) силу, сейчас страстно и часто безуспешно пытается к ней, истинной, пробиться, заменяя красотами стиля и опорой на христианскую сюжетику вот эту драгоценную, неизреченную силу.

Что это за сила? Как точнее ее обозначить? Сила духа? Сила покаяния? Сила новой космогонии? Сила любви?

Любовь, пройдя через ипостаси эроса и мании, становится агапэ и сторге. Она становится троекратным целованием на Пасху Господню, ухаживанием за смертельно больным в хосписе, внимательным, с дрожью сердца, прислушиванием к тому якобы бессвязному лепету, что выбормочет, выкрикнет юродивый. Она становится хлебом насущным, и его и вправду Господь дает нам днесь. Надо лишь не разучиться молиться. И любить.

Это есть благодать.

Библейских сюжетов череда, беспредельная россыпь созвездий. Евангельские образы ведут самосветящийся хоровод. Есть люди, есть Бог, есть Родина, есть народ. Этого уже с лихвой хватит на любое вдохновение: от громадного романа до малого, нежного выдоха колыбельного стиха.